ЮРИЙ ЗОРКИЙ

ИЩИТЕ СВОИХ



ЗЛО У СТАНИЦЫ · КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

Юрий Зоркий

Ищите своих. Зло у станицы. Книга 4

«Автор»
2026

Зоркий Ю.

Ищите своих. Зло у станицы. Книга 4 / Ю. Зоркий — «Автор», 2026

Четвёртая книга серии «Зло у станицы». Продолжение романа «Отцовская дорога».Отец закрыл курган ценой своей жизни и оставил сыновьям старую «четвёрку», летопись заставы и карту, на которой больше двадцати курганов. Степан и Матвей отправляются в дорогу по Кубани: лиманы, плавни, Тамань, предгорья.Но по той же карте кто-то идёт впереди них и вырывает искры из чужих курганов. На хуторе у лиманов в двери стучатся двенадцать сестёр-лихоманок. В плавнях двести лет сторожит клад старый запорожец Охрим. Под таманским обрывом из чёрного моря поднимается ундина. А впереди братьев ждёт другая застава, которая давно перестала верить своим.Чтобы дожить до Рождества, Степану и Матвею придётся научиться не только бить, но и держать щит. И понять то, что заставы забыли двести лет назад: в одиночку курган не удержать. Ищите своих.

© Зоркий Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Сигнальный огонь 6
Глава 1. Валенок 10
Глава 2. Лиманы 15
Глава 3. Двенадцать сестёр 19
Глава 4. Плавни 25
Глава 5. Кладовик 31
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Юрий Зоркий
Ищите своих. Зло у станицы. Книга 4

От автора

В книге звучит кубанская балачка, говор кубанских казаков. Его принесли на Кубань казаки-черноморцы больше двухсот лет назад, и в станицах и на хуторах на нём говорят до сих пор, особенно старики. Балачка — живая часть кубанской казачьей культуры, её речь и её память. Реплики на балачке я оставил так, как они звучат, но записал русскими буквами, а смысл всегда понятен из текста.

Когда разбегутся по степи дороги, как трещины в льду,

и каждая к старым курганам приводит, где дремлет беда,

не спрашивай старую карту: «Куда я иду?» —

спроси, кто с тобою в дороге останется навсегда.
Не всякий свой, кто с тобой одной крови и знака,

не всякий чужой, кто пришёл с незнакомых дорог.

Бывает, чужак подставит плечо среди драки —

и станет родным, как отцовский родной порог.
Ищи же своих не по крови — по свету в окне,

по тем, кто не бросит, когда темнота у ворот.

Кто встал рядом в бурю, тот свой — на земле и в огне,

и там, где своих находят, застава живёт.
С полей летописной карты

Пролог. Сигнальный огонь



В плавнях темнеет не с неба. Темнеет с воды.

Сначала чернеют ерики между камышами, потом сам камыш, потом причалы и лодки, и только в самую последнюю очередь небо. Тарас знал это с самого детства. Дед говорил: в плавнях ночь выходит из воды, как рыбак, и только тогда надевает шапку.

В тот вечер ночь вышла из воды раньше времени.

Был Сочельник, пятый час, и над протокой ещё догорала холодная зимняя заря. А потом из камышей пополз туман. Не белый, как по утрам. Серый, тяжёлый, с запахом стоячей воды и чего-то ещё, чего Тарас не знал. Он полз против ветра. И собаки на всём хуторе залезли под крыльца и молчали.

Тарасу было четырнадцать. Он сидел на перевёрнутой лодке у сарая и чистил рыбу к праздничному столу, когда из хаты вышел дед.

Дед Лукьян не спешил никогда. Даже когда горел сенник у соседей, он сначала надел фуражку, потом взял ведро и только потом пошёл. А тут он вышел без фуражки. И в руке у него была старая казачья шашка, которую Тарас до этого видел только на стене.

— Гордей! — крикнул дед в сторону мастерской. И дальше на балачке, как всегда говорил в сердцах: — Клич батька! Швидко!

Из мастерской, вытирая руки ветошью, высунулся Гордей. Ему было двадцать. Высокий, чёрный, в отца, с такими же густыми бровями. Он посмотрел на шашку в дедовой руке, потом на туман. И потёр левую руку, там, где под рукавом, от запястья до локтя, у него с шестнадцати лет была отметина. Ветвистая, как молния. Тарас видел её сто раз. И сто раз завидовал.

Гордей знал. А Тарас нет.

* * *

Отец прилетел на мотоцикле с дальнего пруда через двадцать минут. Мокрый по пояс, с сетью, которую так и не снял с плеча. Семён Нечитайло, рыбак и тракторист, лучший на хуторе гармонист и самый спокойный человек, кого Тарас знал. Сейчас он был не спокойный.

Он остановился перед дедом, и они долго смотрели друг на друга без слов. Так смотрят люди, которые давно знали, что этот день придёт, и всё равно не готовы.

— Плита? — спросил отец.

— Гуде. Злее, чем тогда. — Дед помолчал. — Семь годов назад так не гудела.

Тарас не понял. Какая плита? У них во дворе были плиты только на дорожке к нужнику. Он посмотрел туда, куда смотрели все трое. За хутор, за канал, на старый курган, где летом пасли коз и куда дед запрещал ходить ночью.

Из тумана над тем курганом торчала одна вершина. И над вершиной в тёмном небе, без единого облака, крутилась медленная серая воронка. Так крутится вода, если выдернуть пробку из ванны. Только наоборот. Не вниз. Вверх.

— Тарас, в хату, — сказал отец. — И сиди.

— А вы?

— Мы по делу.

— Я с вами.

Отец присел перед ним на корточки, так чтобы глаза были вровень. Взял его за плечи мокрыми руками, пахнущими рыбой и соляркой.

— Слушай меня. Вон там, — он кивнул на курган, — сейчас будет то, что бывает раз в семь лет. Только в этот раз злее. Мы с дедом и с Гордеем идём держать. Это наша работа. И дедова, и прадедова. И когда-нибудь будет твоя. Но не сегодня.

— А Гордей?

— У Гордея знак. А у тебя нет. Без знака туда только помирать ходят. А ты хату стережёшь. Мамкину. — Он помолчал. Мамы не было уже год, и отец про неё почти не говорил. — И ещё. Мы не одни. По всей Кубани такие же курганы и такие же люди. Если не сдюжим,

дед зажжёт огонь на плите, и соседи поймут. У них своя плита тёплой станет. Они придут. Так всегда было. Через час, через два, но придут. Понял?

Тарас не понял ничего. Но кивнул.

Отец встал, взъерошил ему волосы и снял наконец с плеча сеть. Аккуратно повесил её на забор. Тарас потом долго не мог смотреть на эту сеть. Отец ведь вешал её так, будто завтра снова пойдёт на пруд.

А потом завёл Тараса в хату. Вышел. И повернул в замке ключ. Снаружи. Тарас слышал, как ключ звякнул у отца в кармане.

* * *

В кухне было темно. Тарас свет не включал. Он снял с полки мамину икону и стоял с ней у окна. Держал её так, как мама держала, когда отец уходил на лиман в шторм. Как держат сковородку, чтобы обороняться. Из кухонного окна курган было видно лучше всего.

Он видел три фигурки на вершине. Деда, отца, брата. Видел, как туман лёг на плавни, как вата. Видел, как гаснут окна у соседей, одно за другим. Праздник. Все легли рано, к заутрене.

А в полночь из кургана пошла вода.

Он её не увидел. Услышал. Даже сквозь двойные, на зиму заклеенные рамы. Как будто где-то под землёй открыли все краны сразу.

— Мама, — сказал Тарас иконе. Тихо. — Они там.

Икона не ответила.

* * *

Они держали. Час. Два. Три.

Тарас видел это из окна кусками, сквозь туман. Три маленькие фигурки на вершине. И между ними, из земли, что-то тёмное, что не имело формы, но имело вес. Оно давило вверх, а фигурки давили вниз. Иногда вершину заливало чёрным, и Тарас переставал дышать, пока фигурки не появлялись снова.

Он дёргал дверь. Дверь была дубовая, дедова. Он взял табуретку и подошёл к окну. И не ударил. Отец сказал: стереги хату.

В четыре на вершине вспыхнул огонь.

Не костёр. Огонь без дров, красный, как железо в горне, и он стоял столбом, ровно, не колыхаясь на ветру. Прямо в небо. Как держат руку, когда зовут с другого берега.

Не сдюжили, понял Тарас. Дед зовёт.

И Тарас вдруг представил её. Эту другую плиту. Где-то далеко, на севере, в степи, на чужом кургане, камень наливается теплом, как печной бок. И кто-то там смотрит на красный огонь. И знает.

Тарас смотрел на дорогу. На тёмную грунтовку, которая вела из хутора на трассу. Туда, откуда должны были приехать фары. Тут ехать-то два часа, говорил дед. А до рассвета три.

Фары не приезжали.

Никто не шёл.

* * *

В пять фигурок на вершине стало две.

Тарас не видел, кто упал. Видел только, как перед этим одна фигурка повернулась к другой. Так поворачиваются, чтобы накинуть на кого-то свою куртку. А потом её не стало.

В шесть фигурка осталась одна.

Красный огонь горел. Чёрное давило. А она стояла. И не падала. Тарас потом много лет не мог понять, как. А Гордей ему не рассказывал.

В семь рассвело. Серое, мокрое рождественское утро. И вода ушла. Тарас услышал и это: как будто под землёй разом закрыли все краны. Воронка над курганом крутилась всё медленнее, и вдруг замерла. И осыпалась. Тарас потом никому не мог объяснить, как может осыпаться

то, что и так было из воздуха. Но она осыпалась. Серым пеплом на туман. И красный столб стал ниже, тоньше, прозрачнее, как свеча, когда кончается воск. И погас.

И стало тихо.

Так тихо, что из камышей с плеском поднялась стая лысух. Потом собака у соседей вылезла из-под крыльца и залаяла. Плавни дышали, как всегда.

А фигурка на вершине сидела. Не шевелилась. Не спускалась. Тарас ждал ещё час.

В восемь он поставил икону на подоконник. Взял табуретку. И выбил окно.

* * *

Он бежал по мёрзлой грязи, без шапки, и не чувствовал холода. Курган был скользкий, мокрый, весь в тине, как дно пересохшего ерика. Тарас лез на четвереньках.

Гордей сидел на вершине, у плиты. Между ними. Дед и отец лежали по обе стороны от него, на спинах, лицом в небо. Мокрые, как из реки. Гордей не обернулся. Он смотрел на дорогу.

Тарас сел рядом. И только тогда заметил, что левая рука у него в крови. От стекла. А под кровью, на тыльной стороне ладони, от костяшек до запястья, ветвилась молния. Маленькая. Больная, как ожог от крапивы. Он даже не заметил, когда она там взялась.

Гордей посмотрел на неё. Долго. Потом взял брата за запястье и развернул к себе. И Тарас увидел, что у брата на левой руке отметина стала другой. Тёмной, почти чёрной. Как будто её прожгли второй раз.

— Теперь мы, — сказал Гордей.

И больше ничего в то утро не сказал. Они сидели вдвоём и смотрели на дорогу. До обеда.

Потом пришли соседи. Понесли их на дверях от сарая. Лейтенант из района потом написал: молния. Сухая гроза. Бывает. На вершине кургана, два раза в одно место, отец и сын. Бывает.

Грозы в ту ночь не было. Но лейтенант был не с хутора и не знал.

* * *

На поминках Гордей просидел все девять дней за дедовой тетрадью. Старой, кожаной, с листом, вложенным посередине. На листе была старинная карта. Половина карты, неровно оторванная. Реки, море, десятки маленьких холмиков. У их хутора была нарисована молния. А верхний край, там, где должна была продолжаться степь на восток, был оборван.

На самом обрыве дедовой рукой, карандашом, была дорисована стрелка. И два слова: «Соседи. Ближайшие».

Гордей смотрел на эту стрелку девять дней. А на десятый взял нож и процарапал поверх дедовых слов другие. Так, что нож прошёл сквозь бумагу и оставил след на столе.

«Не пришли».

Тарас стоял за его спиной. И впервые в жизни побоялся брата.

— Семь лет, — сказал Гордей, не оборачиваясь. Голос у него был спокойный, деловой. Так отец говорил, когда считал, сколько малька нужно запустить в пруд. — Дед писал: после такого курган спит семь лет. Семь лет мы силу копим. А потом поедем.

— Куда?

Гордей положил палец на оборванный край карты. Туда, куда указывала дедова стрелка.

— К соседям, — сказал он. — Спросить, чем они были заняты в ту ночь.

Глава 1. Валенок



Первые сто метров отцовская дорога шла рывками.

«Четвёрка» дёргалась, как конь, которого то пускают вскачь, то тянут за узду. Матвей вцепился в руль обеими руками, на десять и на два, как учили в автошколе, которую он не закончил, потому что не начинал. На столбе у магазина машина заглохла. На повороте к мехдвору заглохла ещё раз. У старой мельницы, где кончался асфальт, заглохла в третий раз, и Стёпа перестал держаться за панель.

— Сцепление, — сказал он. — Отпускай медленно. Как душу из пяток.

— Я медленно.

— Ты её бросаешь, как коврик после гонга.

Матвей посмотрел на него так, что Стёпа поднял руки. Потом повернул ключ. Мотор завёлся. Вторая передача воткнулась с таким хрустом, будто коробка ломала зуб. И машина покатилась по грунтовке, мимо жёлтой стерни, мимо лесополосы, на юг, туда, куда показывала стрелка отцовского компаса.

Стёпа обернулся на курган.

Зелёный. В ноябре. С чабрецом до самой вершины. Он смотрел, пока курган не спрятался за балкой. И потом ещё чуть-чуть, на пустое небо над балкой.

Матвей не оборачивался. Он смотрел в зеркало заднего вида.

* * *

Насчёт прав они договорились ещё вчера.

Права были у Стёпы. Он сдал их ещё в девятнадцать, со второго раза, и с тех пор ни разу не сидел за рулём дольше десяти минут, потому что машины в семье не было. А у Матвея были семнадцать лет и ключи. Так что уговор был простой: по грунтовкам и полям, где никого нет, рулит Матвей. На трассе и в городе Стёпа.

— Ключи мне дали, — сказал вчера Матвей. И всё. Без дальнейших объяснений.

Стёпа не спорил. Мама положила ключи рядом с тарелкой Матвея. Не его. Значит, так и надо.

А насчёт мамы они ни о чём договариваться не стали. Она и так всё знала.

На кухне вчера вечером Стёпа сказал то, что репетировал целый день. Что в декабре у Матвея турнир в Краснодаре, большой, краевой. Что до него они покатаются по краю: сборы, спарринги, товарищеские с чужими залами. Что Стёпе заодно надо съездить на семинар тренеров и посмотреть на детские секции в других станицах.

Мама слушала и резала лук. Когда он закончил, она ссыпала лук в сковородку. Помешала.

— Спарринги, — сказала она.

— Спарринги.

— С летописью в полевой сумке.

Стёпа промолчал. Матвей заинтересовался узором на клеёнке.

Мама долго мешала лук. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Звоните каждый вечер. Не пишите. Звоните. Я хочу слышать голос. И если вам где-то будет плохо, по-настоящему плохо, не врите мне про спарринги. Я достаточно в жизни ждала людей, которые мне не говорили правду.

И стала накрывать на стол.

* * *

За мельницей грунтовка пошла ровнее, и Матвей перестал глохнуть. Он даже включил третью. Посмотрел на брата, будто забил гол в девяностой минуте.

— Ну?

— Сорок два километра в час, — сказал Стёпа. — До Ахтарей двести сорок. К Новому году доедем.

— Зато целые.

— Зато от старости.

Матвей фыркнул. Первый раз за сорок дней. Стёпа сделал вид, что не заметил, и отвернулся к окну, чтобы брат не увидел его лица.

На коленях у него лежала летопись. Раскрытая на последнем листе.

Карта жила. Стёпа понял это ещё ночью, когда не спал и сидел над ней с фонариком. Линии рек не двигались, нет. Но знаки у курганов были не одинаково яркими. Одни спирали едва проступали, как карандаш через понавитую ладонь. А одна, на самом берегу Азовского моря, среди лиманов, наливалась чёрным. Как синяк. И если долго смотреть, медленно крутилась.

Приморско-Ахтарские лиманы. Он нашёл их на телефоне и сравнил. Там, где на старой карте был курган, на спутнике стоял хутор. Десять домов на косе между двумя водами. Хутор Солёный.

Никто им не сказал, куда ехать сначала. Карта не писала писем. Но чёрная спираль у Солёного смотрела на него, как смотрит ребёнок, который потерялся в толпе и уже не плачет, потому что устал.

— Ахтари, — сказал Стёпа ночью. И Матвей только кивнул.

* * *

На трассе у Кропоткина они поменялись.

Матвей пересел направо с видом человека, у которого отняли свисток. Стёпа сел за руль, подвинул кресло и вдруг замер. Кресло было отодвинуто на три зубца дальше, чем надо. Для длинных ног. Для другого человека.

Он не стал его передвигать. Вытянул ноги и поехал так.

На заправке под Тихорецком Матвей пошёл за пирожками, а Стёпа открыл заднюю дверь, чтобы достать воду. На заднем сиденье лежала дедова бурка. Бабушка положила её туда ночью и никому не сказала. Стёпа потянул бурку за край, чтобы добраться до сумки.

Под буркой стоял валенок.

Старый, серый, дедов, с заплаткой на пятке. Один. Второго не было. И он стоял не как стоит валенок, который бросили, а ровно, стоймя, забитый в угол между сиденьем и дверью, чтобы не падал.

Стёпа посмотрел на него. Валенок посмотрел на Стёпу.

То есть не валенок. Из валенка, из самого горла, из темноты и серой шерсти, на него смотрели два глаза. Маленькие, чёрные, как смородины. И очень недовольные.

— Кузьмич, — сказал Стёпа.

Из валенка показалась борода. С одной стороны полная, с другой так и не отросшая после летнего пожара. Затем морщинистый лоб. Затем ручка с чёрными ноготками, которая сердито поправила бороду.

И домовой заговорил. На балачке, скрипуче, как старая дверь, и с такой обидой, будто это его тут забыли, а не он сам пробрался:

— Та шо ж вы так идете…

И осёкся. Потому что Стёпа поднял палец. Он не знал, что так с домовыми можно. Но уже сделал.

— Кузьмич. Ты что тут делаешь?

Домовой посмотрел на него долго. Так смотрит старик, которого спросили, зачем он пришёл на свадьбу внука. Потом молча нырнул обратно в валенок. И из глубины валенка донеслось такое сопение, что сразу стало ясно: разговор окончен.

Стёпа достал телефон и набрал бабушку.

Бабушка взяла с первого гудка. Значит, ждала.

— Нашли, — сказала она вместо «алло».

— Ба, ты что, с ума сошла? А дом? А вы с мамой? Он же домовой, он же должен дом держать.

— Домовой держит не дом, — сказала бабушка так, будто объясняла ему, что тесто держит не миска, а дрожжи. — Домовой держит род. Род твой сейчас где? В дороге. А мы с матерью сами дом удержим, не впервой. И не спорь со мной. Я его сама не просила. Он сам в валенок сел. Ночью. Я только отнесла.

— В валенок?

— А в чём ещё домового возят? В старом валенке или в лапте. Лаптей у нас нет. Берегите валенок. И на ночь ставьте ему молока. Хоть из пакета. Он не гордый.

Из валенка донеслось фырканье, из которого следовало, что насчёт пакета он бы поспорил.

— Ба, — тихо сказал Стёпа. — А если с ним там что-то случится? В дороге?

Бабушка помолчала.

— А если с вами? — сказала она. — Вот он и поехал.

И положила трубку.

* * *

Матвей вернулся с четырьмя пирожками и пакетом молока. Стёпа поднял брови.

— А молоко зачем?

— Не знаю, — честно сказал Матвей. — Взял и взял. Рука сама потянулась.

Стёпа молча кивнул на заднее сиденье.

Матвей заглянул. Долго смотрел на валенок. Потом аккуратно, как кладут свечку перед иконой, поставил рядом с ним пакет молока и один пирожок. С картошкой.

— С картошкой он любит, — сказал Матвей. И сел вперёд, больше ничего не спросив.

Когда они выехали с заправки, Стёпа посмотрел в зеркало. Пирожка на заднем сиденье уже не было.

* * *

К лиманам они добрались в сумерках.

После Приморско-Ахтарска асфальт кончился, и Стёпа молча остановил машину и пересел направо. Матвей сел за руль и повёл «четвёрку» по дамбе, узкой, как спина рыбы. Слева вода, справа вода. И камыш, высокий, в два роста, сухо шелестит о борта.

Он ехал так медленно, что их обогнал велосипедист. Дед в фуфайке, с удочками на раме. Дед обернулся, посмотрел на Матвея и сочувственно покачал головой.

— Молчи, — сказал Матвей брату, хотя тот ничего не сказал.

Хутор Солёный показался из-за камыша сразу, целиком. Десять домов на косе, как на ладони. Сети на кольях. Перевёрнутые лодки. Причал на чёрных сваях. А за домами, на самом конце косы, там, где лиман уже переходил в море, тёмный горб. Невысокий, пологий, обросший камышом.

Курган.

Стёпа почувствовал, как заныло в правой голени. Не болью. Холодом. Так знак ныл всё лето, когда рядом была нечисть. Матвей потёр левое запястье о колено. Тоже.

В хуторе не горело ни одного окна.

Нет. Одно горело. В крайнем доме, у причала. И свет в нём был не электрический, жёлтый, как от свечи. На крыльце стояла женщина в платке и смотрела на их фары так, как смотрят на скорую, которая ехала слишком долго.

Матвей остановил машину. На этот раз не заглохнув.

Женщина спустилась с крыльца. Лет сорока, в тёплой кофте поверх халата. Глаза красные, как после трёх ночей без сна. Она подошла к окну Матвея и посмотрела на него, потом на Стёпу.

— Вы не врачи, — сказала она. Не спросила. Сказала.

— Нет.

— И не из района.

— Нет.

Она помолчала. Из дома за её спиной донёсся кашель. Детский, сухой, лающий, с присвистом. И сразу за ним, из соседнего тёмного дома, другой. И из третьего. Будто весь хутор кашлял в темноте по очереди, перекликаясь.

— Неделю так, — сказала женщина. — Свет не включаем, от света хуже. Врачи приезжали, сказали: вирус. Таблетки оставили. А дед мой говорит: какой вирус, это лихоманка пришла. Из лимана. С сестрами.

Она невесело усмехнулась.

— Деду девяносто три. С чего я вам это рассказываю, не знаю. Просто у вас сумка такая. И лица такие.

Стёпа посмотрел вниз. На коленях у него лежала дедова полевая сумка. И из неё сквозь толстую канву слабо светилось. Тепло, рыжевато, как светится лампада за красным стеклом.

А на заднем сиденье валенок вдруг выпрямился. И из него тихо, очень тихо, так что услышали только братья, донеслось:

— Двенадцать.

Матвей посмотрел туда, куда смотрел домовой. За женщину, за причал, на тёмную воду лимана.

По воде, не проваливаясь, к хутору шли женщины. В белых рубахах до пят. Босые. С распущенными волосами, которые не шевелились на ветру. Шли не спеша, цепочкой, одна за другой. И каждая несла что-то в сложенных ладонях, бережно, как несут воду из родника.

Матвей начал считать. На девятой сбился. Начал снова.

Женщина в платке проследила за его взглядом. Обернулась. Посмотрела на лиман.

И ничего там не увидела.

Глава 2. Лиманы

Женщину звали Галина. Она пустила их в дом так, как пускают ночью чужих: стоя в дверях и держа руку на косяке, чтобы в любой момент захлопнуть. Но захлопнуть не захлопнула.

В доме пахло рыбой, лекарствами и стеарином. На столе горели две свечи. В углу, на диване под двумя одеялами, лежал мальчишка лет девяти и мелко трясся. Зубы у него стучали так, что было слышно от порога.

— Ромка, — сказала Галина. — Сын. Третий день так. То трясёт, то горит. Таблетки не берут.

А на печи, настоящей, белёной, каких Стёпа не видел со времён прадедовой хаты, сидел старик. Маленький, сухой, как вяленая таранька. В ватнике и в шапке. Глаза у него были мутные, выцветшие, но смотрели они прямо на полевую сумку у Стёпы на плече.

— Дед Мирон, — сказала Галина. — Я вам говорила.

Старик пожевал губами. И сказал на балачке, тонким трескучим голосом, как говорили старики в приазовских хуторах:

— А шо це в тебе в сумци свититься, хлопче?

Стёпа посмотрел на брата. Матвей пожал плечами: сам решай.

Он снял сумку, расстегнул и положил летопись на стол, между двумя свечами. Кожа переплёта тепло лоснилась. Застёжки не светились, но что-то в них было такое, что Галина сделала шаг назад.

Дед Мирон полз с печи. Долго, задом наперёд, нащупывая ногой ступеньку. Галина хотела помочь, он её отмахнул. Добрался до стола и положил на переплёт сухую жёлтую руку. Подержал. Не обжёгся.

— Застава, — сказал он уже по-русски, медленно, над самой книгой. — Мати моя говорила, что застава ещё вернётся. Я думал, брешет. Девяносто три года думал.

* * *

Он рассказал всё, что знал. А знал он немного, но точно, как старый рыбак знает свой лиман.

Курган за хутором старый. Старее хутора, старее Ахтарей, старее всего. Когда-то на нём стояла застава, два казака. Их правнуков забрала война, та ещё, большая. Обоих в один день, под Керчью. С тех пор курган никто не держит.

И раз в сорок, в пятьдесят лет из него выходят они.

— Сёстры, — сказал дед Мирон. — Двенадцать. Мати говорила: дочки царя Ирода, за отцов грех проклятые. Сидят под землёй под камнем. А когда камень треснет, выходят и идут по воде в хутор. Несут в ладонях лиманскую воду. И умывают сонных. Каждая своей хворью. Одна трясёт, другая жжёт, третья ломает кости, четвёртая давит грудь. Детей любят. У детей лица тёплые.

Галина не выдержала и села на край дивана, к сыну.

— В сорок шестом они тоже приходили, — сказал дед. — В голод. Мне мало было. Троих с хутора забрали. А потом мати вышла ночью на причал. Одна. И стала их по именам звать.

— По именам? — переспросил Матвей.

— По именам. У каждой имя есть. А имени своего всякая нечисть боится. Назови в лицо, и уйдёт. Только надо видеть, которую зовёшь. Ошибёшься, назовёшь трясучую жгучей, так она тебя самого умоет. Мати видела. Мати наша из заставного рода была, по женской линии. Знака не имела, а видела.

— И они ушли?

Дед Мирон помолчал.

— Одиннадцать ушли, — сказал он. — А двенадцатая, старшая, осталась. Имени её мати не знала. И старшая её забрала. Поцеловала в лоб, и забрала. За ночь. А потом ушла и она. Насытилась.

Он посмотрел на Ромку на диване.

— Теперь вот снова. И никто их не видит. И никто имён не знает. А я старый. Я их только слышу. Они по ночам под окнами поют.

* * *

Имена нашлись в летописи. Стёпа даже не искал. Книга сама легла раскрытой, едва он расстегнул застёжки. Черноморская тетрадь, та же рука, что писала про огненного змея. Мелко, столбиком.

«О лихоманкахъ, сирѣчь о двѣнадцати сестрахъ. Имена ихъ суть».

И столбиком, по одному имени на строку:

«Трясея. Огнея. Ледея. Гнетея. Грудея. Глухея. Ломея. Пухнея. Желтея. Корчея. Глядея».

Одиннадцать.

Двенадцатая строка была. Но на ней лежала клякса. Старая, коричневая, расплывшаяся, такая, что ни буквы не разобрать. А под ней, другой рукой, торопливо:

«Старшую же всуе не называй, ибо кто имя ея записалъ, тот на третий день и слёгъ».

И всё. Дальше страница была оборвана.

— Одиннадцать из двенадцати, — сказал Матвей. — Нормально. Как у матери деда Мирона.

Шутка не получилась. Никто не засмеялся.

* * *

В полночь они вышли на улицу.

Улицы в хуторе было одна, по хребту косы. Слева и справа дома, за домами вода. Туман полз с лимана низко, по колено, и улица стояла в нём, как в молоке. Шашка у Стёпы на поясе тихо гудела, как провода в мороз. Матвей шёл рядом и держал руки в карманах, чтобы не было видно, что они сжаты.

Первую они увидели у третьего дома.

Она стояла у калитки, спиной к ним. В белой рубахе до пят, промокшей по подолу. Волосы чёрные, длинные, мокрые, прилипшие к спине. И на них запуталась травинка с лимана. Калитка была закрыта на щеколду. Женщина постояла. Потом шагнула вперёд. И оказалась за калиткой. Не открывая.

Стёпа перемахнул через забор.

Он догнал её в сенях. В доме пахло сетями и кислой капустой, в темноте сопел кто-то взрослый. А в дальней комнате, на кроватке с сеткой, спала девочка. Лет пяти. С куклой под щекой.

Женщина в белом наклонилась над ней. Разняла сложенные ладони. Из ладоней потекла вода, тёмная, с запахом ила. Прямо на лицо девочки. И девочка во сне вздрогнула, и задрожала всем телом, мелко, часто, как дрожит мокрый щенок.

И Стёпа понял, какая это.

— Трясея! — сказал он. Не громко. Твёрдо. Как зовут игрока с поля на замену.

Женщина распрямилась. Медленно повернула голову. Лицо у неё было молодое, белое, с синеватыми губами, и оно тряслось. Не от страха. Оно всегда тряслось, мелко, непрерывно, как отражение в воде на ветру.

Она открыла рот. И завизжала тонко, пронзительно, как визжит мокрый палец по стеклу. Стёпа зажал уши. А когда открыл глаза, в комнате никого не было. Только лужа на полу, и от неё к окну мокрые следы босых ног.

Девочка на кроватке перестала дрожать. Вздохнула глубоко, со всхлипом, как вздыхают дети после долгого плача. Повернулась на другой бок. И спокойно засопела.

Стёпа выдохнул. Работает.

Одна.

* * *

Когда он выбрался обратно через забор, Матвея на улице не было.

Он нашёл его на причале. Брат стоял на самом краю досок, над чёрной водой. А перед ним, прямо на воде, как на полу, стояла девушка.

Самая красивая из всех, кого Стёпа видел в жизни. Рыжая, волосы до колен, и волосы её, единственные среди всех, были сухими. Они тихо трещали, как трещит пламя в печи. И от неё шло тепло. Стёпа чувствовал его за десять шагов, как от раскалённой плиты.

Она протягивала Матвею сложенные ладони. В ладонях была вода, и от воды шёл пар.

— Выпей, — сказала она. Голос был ласковый, сонный. — Ты же замёрз. Выпей, согреешься.

— Матюха! — заорал Стёпа.

Матвей не обернулся. Но и рук не протянул. Он стоял и смотрел на девушку, и на левом запястье у него горел знак. Ярко, бело, так, что на досках причала лежала его тень.

— Не хочу, — сказал он.

Девушка перестала улыбаться.

Она вылила воду из ладоней прямо в лиман, и там, где она упала, вода зашипела. Потом шагнула ближе. И положила ладонь ему на левое запястье. Прямо на знак.

Знак зашипел, как вода на печке.

Матвей ударил. Справа, коротко, без замаха, как бьют на ринге, когда некогда думать.

Кулак прошёл сквозь неё, как сквозь тёплый пар над кастрюлей.

И девушка засмеялась. Наклонилась к нему близко-близко, так, что их лица почти коснулись. И дунула ему в лицо. Тихонько, как дуют на свечу.

Стёпа бежал по причалу. Он знал, какая это. От неё шло тепло. Вода в её ладонях парила. Она горела.

— Огнея! — крикнул он на бегу.

Девушка вздрогнула, как от удара плетью. Взвилась вверх рыжим снопом, как искры из костра, и осыпалась в лиман. Вода на том месте ещё долго дымилась.

Но Стёпа на воду не смотрел. Он смотрел на брата.

Матвей стоял на краю причала и покачивался. Лицо у него было красное, как после парилки. Он посмотрел на Стёпу мутными глазами.

— Стёп, — сказал он. — А чего так жарко? Ноябрь же.

И упал лицом вниз. Стёпа едва успел поймать его за куртку, у самой воды.

Брат был горячий. Как печка. Как та мамина рука летом, в те сорок ночей.

* * *

К двум часам ночи градусник показал сорок и один.

Матвей лежал на Галининой кровати и говорил. Не с ними. С кем-то в углу. Про сентябрь, про склон, про красную точку в дожде. Два раза позвал отца. Один раз засмеялся. И от этого смеха Галина ушла на кухню и долго там стояла.

Напротив, на диване, Ромка перестал трястись. Дед Мирон сказал с печи: «Трясея из хутора ушла. Вся». И покрестился.

Стёпа сидел на табуретке у кровати с мокрым полотенцем в руках. Полотенце высыхало на лбу у брата за минуту. Он мочил снова. И снова. И считал про себя имена. Трясея. Огнея. Две из двенадцати. Осталось девять, чьи имена он знал. И одна, чьего не знал.

На груди у Матвея, поверх одеяла, сидел Кузьмич. Сидел и не прятался. Галина его видела, перекрестилась и больше ни о чём не спрашивала. Домовой сидел, вцепившись ручками в одеяло, и смотрел на окно.

Стёпа тоже посмотрел на окно.

За стеклом, прижавшись вплотную, стояли лица. Белые. Мокрые. Одно, два, пять, девять. Они не стучали и не входили. Они ждали. И пели. Тихо, в один голос, без слов, так, как поют над люлькой.

А за ними, на самой дороге, в тумане, стояла ещё одна. Отдельно. Выше других. Седая, с длинными белыми волосами до земли. Она не пела. Она смотрела сквозь стекло на Матвея. И улыбалась так, как улыбается тот, кому некуда спешить.

Старшая.

Дед Мирон на печи вдруг сел. Нащупал стену, спустил ноги. Он ничего не видел. Но повернул голову ровно туда, где стояла седая.

— Вот так же, — сказал он шёпотом. — Вот так же она тогда под окном стояла. Молча. Перед тем, как мати забрать.

Глава 3. Двенадцать сестёр



Стёпа считал лица.

Девять. Он пересчитал ещё раз, и снова вышло девять. Белые, мокрые, с прилипшими ко лбу прядями. Они были похожи друг на друга, как бывают похожи сёстры: тот же подбородок, те же тёмные, без белков, глаза. Но одинаковыми они не были. И если ошибиться хоть в одной, дед Мирон сказал ясно, что будет.

Он знал девять имён. Он не знал, где какое.

— Ледея, Гнетея, Грудея, — шёпотом повторял он, как повторяют перед экзаменом. — Глухея, Ломея, Пухнея. Желтея, Корчея, Глядея.

Имена ничего не говорили. Ледея, понятно, холод. Желтея, наверное, желтуха. А Гнетея? А Глядея? Глядит и что?

За его спиной Матвей перестал бредить и сказал вдруг совершенно ясным голосом:

— Синяя.

Стёпа обернулся. Брат лежал с открытыми глазами. Глаза были красные, мутные, но смотрели они мимо Стёпы, в окно. И смотрели так, будто видели там больше, чем он.

— Чего синяя, Матюх?

— Слева. Вторая. Она синяя. От неё холодом тянет, как из морозилки. — Матвей облизнул сухие губы. — Стёп, я их вижу. Ну, не так, как ты. По-другому. Каждая своим цветом светится. Это она мне, рыжая. Когда дунула.

Кузьмич на груди у Матвея поднял голову и посмотрел на Стёпу. Кивнул. Медленно, по-хозяйски. Мол, правда. Малой не бредит.

Стёпа почувствовал, как внутри разжимается что-то, сжатое с самой полуночи.

Огнея дунула в брата огнём. А огонь, выходит, светит. В том числе и на остальных сестёр.

— Значит, так, — сказал он. — Я выхожу. Ты говоришь, кто где. Я называю. Понял?

— Понял. — Матвей попытался сесть, и Кузьмич упёрся ему в грудь обеими руками. — Да лежу я, лежу. Стёп. Окно открой. А то не услышишь.

* * *

Галина открыла окно сама. Руки у неё не дрожали, хотя Стёпа видел, чего ей это стоило. Девять белых лиц отпрянули от стекла, как отпрядывает вода от брошенного камня. И пение стало громче. Холодный воздух с лимана хлынул в комнату, свечи заметались.

Стёпа вышел на крыльцо.

Они ждали его. Стояли полукругом у забора, в тумане по колено, все девять. Рубахи белые, до пят. Ноги босые, но следов в грязи не оставляли. Пели. А как только он шагнул на нижнюю ступеньку, замолчали все разом. Как обрезало.

Седая стояла дальше, на дороге. Не подходила. Смотрела.

Шашка на поясе гудела так, что дрожало бедро. Стёпа положил на неё руку и не стал вынимать. Шашкой тут не помочь. Это он понял ещё у кроватки девочки. Тут нужно было другое.

Имя.

Одна из сестёр шагнула вперёд. Высокая, худая, с длинной шеей. Она шла к нему, протягивая руки ладонями вверх, и с ладоней капало.

— Стёп! — позвал Матвей из окна. Голос сорвался, он закашлялся. — Эта жёлтая! Как одуванчик!

Желтуха. Желтея.

— Желтея, — сказал Стёпа ей в лицо.

Сестра остановилась. Лицо у неё дёрнулось, пошло рябью, как вода на ветру. Она завизжала тем же стеклянным визгом, что и Трясея. И её не стало. Только на земле, где она стояла, осталось мокрое пятно, и от него пахло болотом.

Восемь.

Вторую Матвей назвал раньше, чем она двинулась.

— Синяя справа от столба! Которая холодная!

— Ледея!

За ней от забора потянуло холодом, по траве пробежал иней, и столб у калитки покрылся белым. А потом не стало и её.

Семь.

Оставшиеся больше не ждали.

Они пошли на него разом. Не бегом. Шагом, тихо, плотно, как идёт вода, когда прорвало дамбу. Стёпа пятился к крыльцу и слышал, как Матвей в окне хрипит, торопится, путается.

— Серая, в середине, как камень… Гнетея, наверное! Стёп, не знаю! Тяжёлая она!

Гнетея. Гнёт. Давит.

— Гнетея!

Она исчезла. Но рядом уже была другая, и от неё у Стёпы вдруг заломило все кости разом, колени, локти, плечи, как ломит перед непогодой у старых футболистов, переживших пять операций.

— Ломея! — выдохнул он, не дожидаясь подсказки.

Попал. Боль ушла так же быстро, как пришла.

Пять.

Он не успел обрадоваться. Мир вокруг вдруг стал тихим. Совсем. Не стало слышно ни лимана, ни ветра, ни собственного дыхания. Он видел, как в окне Матвей открывает рот, кричит что-то, машет рукой. И не слышал ни слова.

Глухея.

Он её не видел. Не знал, какая. Сёстры шли на него, четыре, пять, и одна из них забрала у него уши, а он не понимал, которая. Назови неправильно, и та, которую назвал, войдёт в тебя сама.

Стёпа стоял на нижней ступеньке крыльца, и в оглушённой тишине у него вдруг стало пусто и ясно в голове. Как на поле, когда до конца матча минута, а счёт ничейный, и трибуны орут, а ты их не слышишь. Тогда ты смотришь. Не на мяч. На ноги. На то, кто куда идёт.

Он смотрел.

Четыре сестры шли к нему, протягивая ладони. Пятая не протягивала. Пятая шла чуть сзади, наклонив голову к плечу, как наклоняют, когда прислушиваются. И губы у неё шевелились. Она слушала. Она слушала за него.

— Глухея, — сказал Стёпа, глядя ей прямо в лицо. Своего голоса он не услышал.

Но она услышала.

Звук вернулся сразу, обвалом: ветер, лиман, собачий лай где-то на краю хутора и Матвеев голос из окна, сорванный, злой:

— …Стёпа! Я ору, ору! Розовая, рядом с тобой, она в грудь метит!

Розовая уже стояла вплотную. И дышать стало нечем. Будто на грудь положили мешок мокрого песка.

— Грудея, — прохрипел он.

Мешок исчез.

Три.

* * *

Три последние не нападали. Они стояли у забора и смотрели на него. И впервые за всю ночь Стёпа увидел на их белых лицах что-то похожее на страх.

— Пухлая, — сказал Матвей из окна. Голос у него стал тише, слабее. — Зелёная такая. И ещё одна… Красная. Она вся корёжится, как будто ей больно.

Пухнея. Корчея.

Стёпа назвал их обеих, одну за другой. Пухнея лопнула, как пузырь на воде. Корчея скорчилась, сломалась пополам и ушла в землю, будто её затянуло.

Одна.

Последняя стояла дальше всех. Маленькая, ниже других, почти девочка. Глаза у неё были не тёмные, как у сестёр, а светлые, прозрачные, как вода в роднике. И она смотрела на Стёпу. Просто смотрела. А у него вдруг поплыло в глазах, всё стало мутным и двойным, лиман, забор, дом, как бывает после сильного удара по голове.

Глядея. Последняя. Больше некому.

— Глядея, — сказал Стёпа.

И тогда она закричала.

Не завизжала, как остальные. Закричала. По-человечески, тонко, по-детски, и бросилась не в лиман, не в землю, а к дороге. Туда, где в тумане стояла седая.

— Невея! — кричала она на бегу. — Невеюшка! Сестрица! Заступись!

Она добежала, упала седой в ноги, обхватила её за колени. И пропала. Растаяла, как растаял бы снег, если бы его прижали к горячей печи.

Седая стояла на дороге одна. Смотрела на свои колени. Потом подняла глаза на Стёпу.

И впервые за ночь перестала улыбаться.

* * *

— Невея, — повторил Матвей в комнате. Шёпотом. Будто пробовал на вкус. — Стёп. Ты слышал? Она её назвала.

Стёпа слышал.

За его спиной скрипнула дверь. На крыльцо, держась одной рукой за косяк, другой за Галину, вышел дед Мирон. В валенках, в ватнике, в шапке. Он ничего не видел. Но повернул голову к дороге.

— Мати тогда одна была, — сказал он тихо. — Звала, звала. А они от неё молча уходили. В воду. Ни одна не крикнула. Старшая их при себе держала, рядом. Не боялись они. А ты, хлопче, вон как. Вдвоём.

Он помолчал.

— Ото ж и всё, — сказал он на балачке, как говорили тут его отец и дед. — Шо одному не сдюжить, то двоим як раз.

Седая пошла к ним.

Медленно. Не по воде, не над землёй. По дороге, как идёт живой человек, и туман расступался перед ней. Волосы, белые, длинные, волочились за ней по грязи и оставались чистыми. Лицо было красивое. Старое и молодое одновременно, как лицо на иконе, которую писали сто лет, и каждый мастер прибавлял своё. Глаза у неё были серые. Спокойные. Усталые.

Она остановилась у калитки. Посмотрела на Стёпу. Потом на окно, за которым лежал Матвей.

— Хороший, — сказала она. Голос был низкий, как гудение шашки. — Горячий. Сестрица Огнея хорошо выбрала. Я бы с ним до утра посидела. Как с той, на причале. Она тоже горячая была.

Дед Мирон на крыльце перестал дышать.

— Не посидишь, — сказал Стёпа.

Она склонила голову к плечу. Совсем как Глухея.

— Двести лет, — сказала она, — никто не знал. Двести лет записать боялись. Кто записывал, того я на третий день навещала. Ты знаешь?

— Знаю.

— И всё равно скажешь?

Стёпа спустился со ступеньки. Встал у калитки, лицом к лицу. Между ними было полметра и старые, некрашеные доски.

Он вспомнил первого своего детского тренера, который говорил: «Если боишься пенальти бить, бей сильнее». Он вспомнил маму, которая звонила вчера в девять и спрашивала, поели ли они. Он вспомнил брата на причале, красного, качающегося, и его «Чего так жарко? Ноябрь же».

— Невея, — сказал Стёпа.

Ей в лицо.

Она не завизжала. Не закричала. Она закрыла глаза, и на миг ему показалось, что она улыбнулась. Не злорадно. Облегчённо. Как улыбается человек, которого наконец окликнули после долгого пути.

— Застава, — сказала она, не открывая глаз. — Вернулась, значит.

И пошла назад. По дороге, к кургану. Медленно, не оборачиваясь. Туман смыкался за ней. А когда сомкнулся совсем, над лиманом вдруг поднялся ветер, сухой, резкий, северный. И разметал туман в клочья.

Небо над хутором было чистое. Звёздное. Холодное.

* * *

К пяти утра у Матвея было тридцать семь и две.

Он спал. Не бредил, не метался. Просто спал, как спят после тренировки, с открытым ртом и рукой, свешенной с кровати. Кузьмич слез с его груди и сидел теперь у изголовья, на подушке, в валенке. Сидел и клевал носом.

На диване напротив Ромка проснулся, сел и спросил у матери, есть ли что поесть. Галина заплакала. Ромка не понял, почему, и спросил ещё раз.

Знак на запястье у брата Стёпа проверил дважды. Он был на месте, тёмный, спокойный. Только по краю, там, где лежала ладонь Огнеи, осталась тонкая красная полоса. Как от ожога.

Дед Мирон на печь не полез. Сидел за столом, у погасших свечей, сложив руки на коленях, и молчал. Долго. А потом сказал, не поворачивая головы:

— Записывать будешь?

Стёпа посмотрел на летопись.

Она лежала на столе раскрытой. Сама. На той же странице, черноморской, с одиннадцатью именами и кляксой. Но ниже, после оборванного края, теперь шёл чистый лист. Его вчера не было. Стёпа был в этом уверен.

Лист был пустой. Ждал.

— Буду, — сказал Стёпа.

Он сел. Достал ручку. Обычную, синюю, шариковую, из бардачка. И подумал, что так в летописи ещё никто не писал. Гусиным пером писали, карандашом писали, чернилами. А шариковой ручкой нет.

Он написал число. Потом подумал и написал, как писали прадеды, своё имя и откуда: «Степан, внук Петра, застава станицы Курганной. В дороге».

В дороге. Он посмотрел на эти два слова и понял, что это первая запись не из дома. Двести с лишним лет летопись писали у одного кургана. А теперь её везли.

Дальше пошло легко. Хутор Солёный. Курган без заставы. Двенадцать сестёр. Как отличали. Кто видел. Кто называл. Стёпа писал коротко, по делу, как пишут протокол матча. Когда дошёл до старшей, рука сама остановилась над бумагой.

Кто записал, тот на третий день слёг.

Он занёс ручку. Подержал.

— Не пиши, — сказал Матвей с кровати.

Стёпа обернулся. Брат не спал. Лежал и смотрел на него, бледный, мокрый, с прилипшими ко лбу волосами. Но глаза были ясные.

— Не пиши, — повторил Матвей. — Мне ещё на турнир через две недели. Я без тебя не поеду.

Стёпа хмыкнул. И написал:

«Имя старшей узнали. Не пишем. Кому надо будет, найдите нас и спросите. Заставы должны знать друг друга. Ищите своих».

Он перечитал последние два слова. Он не собирался их писать. Они написались сами. Как будто кто-то давно хотел, чтобы их наконец кто-то написал.

Чернила, синие, шариковые, на глазах потемнели и стали коричневыми. Как у прадедов.

Летопись приняла запись.

* * *

Утром, когда рассвело, Стёпа пошёл к кургану один. Матвея не пустили. Галина встала в дверях, как вчера, и сказала, что из её дома больной не выйдет, хоть он трижды казак. Матвей ворчал, но остался.

Курган стоял за хутором, у самого лимана. Невысокий, оплывший, заросший сухой полынью. На вершине лежал камень, плоский, серый, размером с кухонный стол. И камень был расколот. Пополам, по самой середине. Из трещины ещё тянуло сыростью.

Стёпа обошёл его кругом. И остановился.

Трещина была не от времени. Время колет камень иначе: мелко, сетью, кривыми ломаными линиями. А эта была ровная. Чистая. Как будто по камню провели чем-то тяжёлым и острым. А по краям, на сером, было выжжено чёрное. Завиток. Спираль. Будто кто-то приложил к камню раскалённое клеймо.

Вокруг, в мокрой глине, были следы. Свежие. Неделя, может, две. Две пары. Одни большие, тяжёлые, с глубоким каблуком. Другие поменьше, легче, и шагали они неровно, будто тот, кто их оставил, всё время оглядывался.

А дальше, у дороги, в глине отпечатались широкие следы шин. Как от уазика.

Стёпа сел на корточки у расколотого камня и долго смотрел на чёрную спираль.

Сёстры не вышли сами. Камень не треснул от старости.

Его кто-то открыл. Специально. Открыл, взял что-то своё. И ушёл, оставив хутор Солёный двенадцати сёстрам.

Летопись в сумке на плече вдруг потеплела. Стёпа расстегнул застёжки прямо там, на кургане. Книга легла раскрытой не на сегодняшней записи. На старой карте, той самой, половинчатой, найденной в третьей книге. Там, где карта обрывалась, по краю, у нарисованных плавней, проступила новая, свежая, едва заметная точка.

Красная. Как кровь.

Или как сигнальный огонь.

Глава 4. Плавни

Уезжали в полдень.

Галина собрала им в дорогу пакет: жареную тюльку в фольге, хлеб, банку огурцов и отдельно, в газете, шесть варёных яиц. Ромка стоял на крыльце в отцовской куртке до колен и махал, пока машина не скрылась за поворотом. Матвей махал ему в ответ через заднее стекло, хотя Ромка этого видеть уже не мог.

Дед Мирон провожать не вышел. Он позвал их к себе на печь ещё утром, когда Галина ушла кормить кур. Позвал, похлопал по лежанке рядом с собой, и Стёпа полез, хотя печь была узкая, а он не маленький.

— Я вчера не всё сказал, — проговорил дед, глядя мимо него, в потолок. — Не знал, шо вы за люди. Теперь знаю.

Он помолчал, пожевал губами.

— Осенью были тут хлопцы. На уазике. Чёрный уазик, старый, с решёткой. Двое. В хутор не заезжали. Встали на дороге у кургана и два дня там стояли. Мне Галька говорила, она в магазин ходила мимо. А на третий день один пришёл сюда. Молодой. Воды попросить.

— Какой он был? — спросил Стёпа.

— Я ж не вижу, хлопче. — Дед усмехнулся. — Голос был молодой. Весёлый. Пил, как конь, и всё смеялся, шо у нас вода солёная. А потом спросил, не помню ли я, где тут люди в войну на кургане стояли. Я сказал, не помню. Он ещё посмеялся и ушёл.

Дед повернул голову, и мутные глаза уставились Стёпе точно в лицо, как ночью уставились на седую.

— Только я ему не поверил, хлопче. Голос весёлый был, а руки у него тряслись. Кружку об зуб стукнул два раза. Так руки трясутся у того, кто боится. Не нас. Не меня. А того, кто его ждёт на дороге.

— Старшего, — сказал Стёпа.

— Может, и старшего, — согласился дед. — А уехали они туда. — Он махнул сухой рукой на восток, туда, где за лиманами начинались плавни. — Галька видела. В плавни.

Потом он полез за пазуху, долго шарил под ватником и вытащил маленький медный крестик на чёрном шнурке. Старый, стёртый до того, что распятие на нём еле угадывалось.

— Матин, — сказал он. — Той ночью на ней был. Она в нём на причал ходила. Возьми.

— Деда, да вы что, — сказал Стёпа. — Это ж ваше.

— Моё, — согласился дед Мирон. — А мне он сколько лет без надобности висел. А вам в дорогу. Не мне, хлопче. Брату твоему. Ему горячо было. Пусть теперь холодит.

* * *

До асфальта вёл Матвей.

Так договорились ещё дома, при матери. Права у Стёпы, а Матвею семнадцать, и выезжать на трассу он не будет ни при каких обстоятельствах, хоть бы за ними гнались все черти Кубани. Но грунтовки его. По грунтовкам можно, на грунтовках менты не стоят, а если и стоят, то сами застревают.

Стёпа сидел рядом и молчал. Он не выспался, не сомкнул глаз до самого рассвета, и теперь всё вокруг было немного ватным. Дорога шла по дамбе между двух лиманов, слева вода, справа вода, серая, плоская, без единой волны. Над ней низко тянули утки. Иногда с воды поднималась цапля и летела рядом с машиной, медленно и тяжело, как старый самолёт.

Матвей вёл аккуратно, двумя руками. Крестик висел у него на шее, поверх свитера. Брат время от времени трогал его, не глядя, как трогают ушибленное место.

— Холодит, — сказал он наконец. — Слышь, Стёп? Правда холодит. Как будто кусок льда.

— Ну и хорошо.

— Я ничего не помню, — сказал Матвей, помолчав. — Вот с причала. Помню, как она воду протягивала. Красивая была. Потом жарко стало. А потом сразу утро, и ты сидишь с полотенцем и рожа у тебя такая, как будто я умер.

— Ты говорил, — сказал Стёпа. — Ночью. Цвета. Кто какая.

— Ничего не помню.

— Ты их видел. Лучше меня.

Матвей покосился на него. Хмыкнул. И не стал спорить. Но Стёпа видел, как он чуть заметно, уголком рта, улыбнулся. Как улыбался в девять лет, когда тренер в первый раз сказал ему при всех: молодец.

В бардачке, в своём валенке, спал Кузьмич. Он забрался туда сам, ещё в хуторе, и, когда Стёпа хотел открыть бардачок за картой, изнутри так зашипели, что открывать он передумал. Домовой отработал ночь. Домовой имел право.

* * *

Мать позвонила в девять. Минута в минуту, как звонила каждый вечер с тех пор, как они уехали.

Они стояли тогда на заправке под Славянском, и Матвей ушёл в магазин за чаем. Стёпа поставил телефон на громкую связь и положил на приборную панель.

— Ну, — сказала мама. — Живые?

— Живые, мам.

— Поели?

— Поели. Нас тётка одна кормила. В хуторе. Тюльку жарила.

Мама помолчала. Стёпа слышал, как у неё на кухне бормочет телевизор, как звякает о блюдце ложка.

— А Матвей где?

— В магазине. Чай берёт.

— Дай ему трубку, когда придёт.

Матвей пришёл, сел, взял телефон и сказал «привет, мам» бодро и громко. Слишком бодро. Голос у него всё ещё был хриплый после ночи, сорванный.

Мать помолчала ещё. Потом спросила совсем другим голосом:

— Что с голосом?

— Простыл чуть-чуть. Ерунда.

— Температура была?

— Ну, была. Немного. Уже нет.

— Сколько?

Матвей посмотрел на Стёпу. Стёпа покачал головой.

— Тридцать семь и два, — сказал Матвей. И это была правда. Утренняя.

Мама долго ничего не говорила. А потом сказала тихо, без упрёка, так, что Стёпе стало хуже, чем если бы она закричала:

— Вы мне врёте, как ваш отец врал. Он тоже всегда говорил: ерунда, мам. В смысле, Оль. Ерунда, Оль. Я голос знаю, Матюша. Я сорок ночей твою руку держала. Я знаю, как у тебя голос садится, когда ты горишь.

Матвей сглотнул.

— Мам…

— Я не прошу, чтобы вы мне всё рассказывали, — сказала мама. — Я прошу, чтобы вы мне не врали. Это разное. Если не можете сказать, говорите: не могу сказать. Я пойму. Я дочь своего отца. А враньё не надо. Договорились?

— Договорились, — сказал Стёпа.

— Матвей?

— Договорились, мам. — Матвей помолчал. — Было сорок один. Ночью. Сейчас нормально. Правда нормально. Меня дед один крестиком наградил. Холодный.

На том конце долго молчали. Потом мама сказала: «Хорошо». И ещё: «Спите». И отключилась.

Стёпа завёл машину. Матвей смотрел в окно, на жёлтые фонари заправки, на фуру с прицепом, на кота, который сидел у мусорного бака и умывался.

— Надо было сразу сказать, — сказал он.

— Надо было.

— Ты тоже хорош. Головой мотал.

— Я тоже хорош, — согласился Стёпа.

* * *

Хутор назывался Гирло.

До него от асфальта было двенадцать километров грунтовки, и последние три из них шли по такой грязи, что Матвей, который рулил, вспотел, как на тренировке. С обеих сторон дороги стеной стоял камыш. Высокий, в два человеческих роста, сухой, светло-жёлтый, с бурыми метёлками. Он шелестел, даже когда не было ветра. И за ним ничего не было видно. Ни воды, ни неба над водой, ни других дорог. Только камыш, и полоса грязи между ним, и над головой узкая полоска серого света.

— Как в коридоре, — сказал Матвей.

Стёпа кивнул. Ему не нравился этот коридор. Здесь было слишком тихо для места, где кругом вода. Ни уток, ни цапель, ни лягушек. Только шелест.

Хутор вынырнул из камыша неожиданно: семь домов на сваях, причал с лодками, сети на шестах, развешанные для просушки, как огромная серая паутина. Дым из одной трубы. Собака, которая выскочила навстречу машине, хотела было залаять, но посмотрела на них и не стала. Отбежала и легла у забора.

Дым шёл из крайнего дома, у самого причала. На крыльце сидел мужик лет шестидесяти, в брезентовой куртке, и чинил сеть. Большой, бритый, с обветренным красным лицом и седыми усами. Когда они вышли из машины, он даже головы не поднял.

— Здрасьте, — сказал Стёпа.

— И вам не хворать, — сказал мужик сети. — Заблудились?

— Нет. Мы сюда ехали.

Мужик поднял голову. Посмотрел на Стёпу. На Матвея. На машину с краснодарскими номерами, залепленную грязью по самые стёкла. Потом снова на Стёпу.

— Сюда, — повторил он. — В Гирло. Специально.

— Специально.

— Ну, — сказал мужик и отложил сеть. — Тогда заходите. Раз специально. Чего на ветру стоять.

Звали его Василий Семёнович. Он был в Гирле егерем, сколько себя помнил, а до него был егерем его отец, а до отца дед, и про плавни он знал всё. Это он сказал не хвастаясь, а так, как говорят про погоду. Он налил им чаю из чёрного, закопчённого чайника. Чай был крепкий, как дёготь, и пах дымом.

— Ну, — сказал он. — Говорите. Только не врите. Я враньё за версту чую. С браконьерами двадцать лет дело имею.

Стёпа переглянулся с братом. И сказал правду. Не всю. Но правду.

Что они ищут двоих. На чёрном уазике. Старшего и младшего. Что те, может, проезжали здесь недавно, неделю-две назад. Что они, может, что-то искали в плавнях.

Василий Семёнович слушал, не перебивая. Дул на чай. А когда Стёпа закончил, поставил кружку и долго смотрел в окно, на камыш.

— Вы им кто? — спросил он. — Родня?

— Нет.

— Друзья?

— Нет.

— А кто тогда?

Стёпа подумал.

— Не могу сказать, — сказал он. И сам удивился, как легко это вышло.

Василий Семёнович посмотрел на него ещё раз, долго и внимательно, как смотрят на незнакомую лодку у своего причала. Потом кивнул.

— Ну, хоть не врёшь, — сказал он. — Были они тут. Девять дней назад.

* * *

Он рассказывал, не торопясь, глядя в окно.

Уазик пришёл ночью, со стороны дамбы. Не по дороге, по которой приехали братья, а по старой, по которой лет десять никто не ездил, потому что её размыло. Как они по ней прошли, Василий Семёнович не знал. Но прошли. Встали у причала, не глуша мотора. Двое вышли. Старший, высокий, чернявый, с короткой бородой, спросил лодку.

— Я сказал: ночью не дам, — проговорил Василий Семёнович. — Ночью в плавни дураки ходят. А он мне денег положил. Вот столько. — Он показал пальцами толщину пачки, и Матвей присвистнул. — Я сказал: всё равно не дам. Тогда он денег больше не предлагал. Посмотрел на меня просто. Вот как ты сейчас смотришь, — кивнул он Стёпе. — Только по-другому. И я, хлопцы, вам честно скажу. Сорок лет в плавнях, на кабана ходил с ножом, браконьеров по ерикам гонял, стреляли в меня два раза. А тут взял да и отдал ключ от лодки. Сам не помню как. Будто во сне.

— А младший? — спросил Стёпа.

— А младший у машины стоял. Курил. Молодой совсем, лет двадцать. Улыбался. Мне потом подмигнул, когда старший уже в лодку садился. Вроде как: не обижайся, дядя, он такой. — Василий Семёнович помолчал. — Хороший хлопец. Видно было. Только курил одну за одной. Пальцы ходуном ходили.

Стёпа почувствовал, как у него внутри всё стянулось в узел. Так руки трясутся у того, кто боится.

— Куда они поплыли?

Василий Семёнович не ответил. Встал, подошёл к стене, где висела старая карта плавней, засиженная мухами, вся в карандашных пометках. Нашёл пальцем место. И постучал.

Место было в самой глуши, где голубые жилки ериков сплетались в сплошную сеть. Маленький кружок, обведённый карандашом трижды.

— Казачий бугор, — сказал он. — Остров. Вернее, не остров даже. Курган. Его водой обошло, когда Кубань русло меняла. Стоит посреди плавней, сухой, как на ладони. Старики говорили, там запорожцы, когда на Кубань пришли, войсковую казну зарыли. Чтоб не досталась никому, если что. Зарыли и заговорили. И поставили сторожить.

— Кого? — спросил Матвей.

Василий Семёнович помолчал.

— Того, кто там стоит, — сказал он. И сел на место. — Туда никто не ходит. Отец мой не ходил. Дед не ходил. Я раз в жизни сунулся, пацаном, на спор. Дошёл до берега. И увидел, что на бугре огонь горит. Синий. Как газ в плите. А рядом с огнём человек стоит. Большой. Выше камыша. В красном. И смотрит на меня. Я в лодку и гребу, гребу, гребу, а лодка ни с места, будто в смоле. До утра грёб. Утром оказалось, я у самого Гирла стою, у причала. Лодку к столбу привязанную. И сам не помню, когда привязал.

Он отпил чаю. Рука у него не дрожала. Но пил он долго.

— Они вернулись на рассвете, — сказал он. — Лодку пригнали, ключ на крыльцо положили. Старший нёс мешок. Небольшой. В мешковине, перевязанный. Нёс вот так, — он прижал руки к груди, — как ребёнка носят. Сели и уехали. А младший…

Он замолчал.

— Что младший? — спросил Стёпа.

— Младший белый был, — сказал Василий Семёнович. — Как стена. И на руке у него, вот тут, — он тронул себя за левое запястье, — что-то светилось. Под рукавом. Он руку в карман прятал. А оно сквозь карман светилось.

Матвей посмотрел на своё запястье. Стёпа машинально тронул правую голень.

Василий Семёнович этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

— С тех пор на бугре огонь каждую ночь, — сказал он. — Раньше раз в год было. На Пасху. Или перед большой бедой. А теперь каждую ночь. И не синий. Красный. И тот, в красном, ходит. Раньше стоял. А теперь ходит. По воде. Я видел. С причала видно. Ходит и ищет.

Он посмотрел на них.

— А три дня назад Лёха Сивоконь сетки проверять поплыл, — сказал он. — К Чёрному ерику. Там до бугра километра три. И не вернулся. Лодку не нашли. Лёху не нашли. Ничего не нашли. Полиция два раза приезжала. Вертолёт летал. А я им сказать ничего не могу. Что я им скажу? Что Лёху запорожский клад забрал?

В окне, за камышом, догорал короткий ноябрьский закат. Серое небо стало розовым, потом сизым. Где-то очень далеко, за стеной камыша, в глубине плавней, засветилась точка.

Красная.

— Вон, — сказал Василий Семёнович тихо. — Зажёгся.

* * *

Кузьмич в лодку не полез.

Стёпа достал его из бардачка вместе с валенком, принёс на причал и хотел поставить на корму. Но домовой вцепился ручками в край голенища и зашипел так, что Василий Семёнович, отвязывавший лодку, вздрогнул и выронил верёвку. Он видел Кузьмича первый раз. Он долго смотрел на валенок. Потом перекрестился и снова взялся за верёвку. И больше ничего не спросил.

— Не любит воду, — сказал Матвей. — Домовые воду не любят.

— Оставим в машине, — сказал Стёпа.

Но Кузьмич в машине оставаться тоже не захотел. Он вылез из валенка, просеменил по причалу и остановился у самого края досок. Ветер трепал его бороду. Он смотрел в плавни, туда, где горел красный огонь. И бормотал что-то неразборчивое. Не им. Сам себе.

А потом развернулся, решительно залез обратно в валенок и ткнул пальцем в лодку. Мол, грузите. Чего стоите.

— Смотри-ка, — сказал Матвей. — Передумал.

Стёпа не ответил. Он видел, как Кузьмич посмотрел на огонь. Так смотрят не на опасность. Так смотрят на того, кого узнали.

Василий Семёнович сел на вёсла сам. Мотор он заводить не стал. «Он мотора не любит, — сказал он, не уточнив, кто «он». — Мотор по воде далеко слышно». Он грёб длинно, без всплеска, как гребут люди, которые делали это всю жизнь. Лодка шла по ерику, по узкой чёрной протоке между двумя стенами камыша, и камыш смыкался над головой, и было темно, как в туннеле. Только впереди, далеко, сквозь метёлки, просвечивал красный огонь.

Стёпа сидел на носу. Шашка на поясе молчала. Совсем молчала, даже не гудела, и от этого было страшнее, чем если бы гудела. Матвей сидел на корме, с валенком на коленях. Крестик у него на шее поблёскивал.

Камыш расступился внезапно.

Лодка выскользнула на открытую воду. Круглое озерцо, гладкое, тёмное, как пролитая нефть. А посредине стоял бугор. Невысокий, круглый, поросший сухой травой, и на макушке у него, на плоском камне, горел огонь. Красный, ровный, без дыма. Без треска. Без дров. Огонь просто горел на камне, как будто камень сам был дровами.

И у подножия бугра, у самой воды, лежала лодка. Перевёрнутая. Вёсла валялись рядом, на песке.

— Лёхина, — сказал Василий Семёнович. Голос у него сел. — Лёхина лодка. Я её знаю, я ему днище смолил.

Лодка ткнулась носом в песок. Стёпа выпрыгнул первым. Песок был мокрый, холодный, и в нём были следы. Много следов. Старые и новые. Широкие следы босых ног, огромных, как лопаты, и они шли вокруг бугра. Кругами. Кругами. Кругами, будто кто-то ходил тут дни и ночи напролёт, не останавливаясь.

И ещё были следы сапог. Две пары. Одни побольше, тяжёлые, с глубоким каблуком. Другие поменьше, неровные. Девятидневной давности, полузалитые водой. Они поднимались на бугор.

Стёпа пошёл по ним вверх.

На вершине, рядом с горящим камнем, была яма. Свежая, глубокая, по пояс. Земля из неё выброшена кругом. И на краю ямы, на плоском камне, том, на котором горел огонь, было выжжено чёрное.

Спираль.

Такая же, как в Солёном. Точно такая же. Завиток к завитку.

— Стёп, — позвал снизу Матвей. Позвал тихо. Очень тихо. — Стёпа. Сзади.

Стёпа обернулся.

На той стороне ямы стоял человек.

Старик. Огромный, выше Стёпы на две головы, широкий, как дверь. В красном жупане до колен, потёртом, выцветшем, с прорехами, в широких синих шароварах. Босой. Седой оселедец свисал с бритой головы за ухо, а усы, тоже седые, были такие длинные, что их концы он заткнул за пояс. В руке он держал фонарь, старинный, кованый, со слюдяными окошками. Фонарь не горел. Огонь горел рядом, на камне. А старик стоял и смотрел на Стёпу. И глаза у него были как тот огонь. Красные. Ровные. Без дыма.

Шашка на поясе у Стёпы проснулась и загудела. Знак на голени вспыхнул белым, прямо сквозь штанину, так, что по траве на кургане пробежала тень.

Старик посмотрел на знак. Потом снова Стёпе в лицо. И вдруг заговорил на балачке, гулким, тяжёлым голосом, будто из бочки, будто из-под земли:

— Прийшлы, значит. Ну, то й добре. Заставни. Дождався.

Он опустил фонарь и показал им на яму. На пустую, разрытую, тёмную яму.

— А то я вже думав, никого и не пришлють. Будете мени ворочать, шо взялы.

Глава 5. Кладовик



— Мы ничего не брали, — сказал Стёпа.

Старик в красном жупане не ответил. Он переступил через яму, будто через лужу, и остановился перед Стёпой. Вблизи он был ещё больше. Стёпа смотрел ему в грудь, в старую красную сукно, и чтобы увидеть лицо, пришлось задрать голову. От старика пахло сырой землёй, железом и почему-то табаком. Старым, крепким, как из дедовской люльки.

— Не брали, — согласился он, всё так же на балачке. — Знаю. Не вы брали. А вертать вам.

— Почему нам?

Старик наклонился. Неторопливо, с треском в коленях, как наклоняется старое дерево под ветром. И пальцем, толстым, как черенок лопаты, с чёрным ногтем, ткнул Стёпу в правую голень. Туда, где сквозь штанину светился знак.

— Бо это ваше дело, — сказал он. — Заставное. Застава взяла, застава и вернёт. А не вернёте, так мне самому за ним идти. А мне с этого бугра ходу нема. Так я каждого, кого встречу, сюда приведу. И он тут будет копать. Пока не выкопает.

Он мотнул головой вниз, туда, где у воды лежала перевёрнутая лодка.

Василий Семёнович стоял внизу, у своей лодки, и держал весло наперевес, как дубину. Услышав про лодку, он бросил весло, кинулся к перевёрнутому днищу, упёрся плечом и перевернул его одним рывком, хотя лодка была тяжёлая, деревянная.

Под лодкой, на мокром песке, свернувшись калачиком, лежал человек. В резиновых сапогах до паха, в телогрейке. Руки у него были в земле по локоть, ногти сорваны, на пальцах засохла кровь. А лицо было спокойное. Спящее. Даже довольное, как у человека, которому снится что-то хорошее.

— Лёха! — Василий Семёнович упал рядом на колени, тряхнул за плечо. — Лёха, чёрт ты сивый! Лёха!

Лёха не проснулся. Только пальцы его, сорванные, чёрные от грязи, шевельнулись в песке. Как будто копали даже во сне.

— Живой, — сказал старик с кургана, и в его гулком голосе Стёпе вдруг послышалась обида. — Я живых не беру. Он сам пришёл. Прослыхал, шо казну выкопали, да и пришёл с лопатой. Подобрать, шо осталось. Ну, я ему и сказал: копай. Раз так хочешь. Он и копал. Лопату сломал, руками копал.

— Три дня? — хрипло спросил Василий Семёнович.

— Три дня. А на четвёртый он бы уже не проснулся. Стал бы моим. Ходил бы тут со мною, кругом. Сторожил бы. — Старик помолчал. — Одному-то скучно. Двести лет.

* * *

Стёпа не заметил, как Матвей поднялся на бугор. Брат просто вдруг оказался рядом, плечом к плечу, с валенком под мышкой. И встал так, как вставал в клетке перед тем, кто тяжелее: левым плечом вперёд, подбородок вниз.

— Отпусти его, — сказал Матвей. — Лёху. Он тут ни при чём.

Старик посмотрел на него сверху. На крестик на шее. На знак на левом запястье, с тонкой красной полосой по краю. Усмехнулся в усы.

— А то шо, — спросил он, — бить мене будешь, хлопче?

— Если надо.

— И чим?

Стёпа положил руку на шашку. Шашка гудела. Но гудела как-то странно. Не зло, не настороженно, как на Сестёр или на анчуток. А тихо, ровно, почти ласково. Так гудит провод в своём доме, в своей стене.

Он вынул её наполовину. Клинок светился не голубым. Тёплым. Жёлтым, как лампочка в окне деревенской хаты.

Старик посмотрел на клинок. И усмешка сошла с его лица. Вместо неё появилось что-то другое. Стёпа видел такое у стариков в станице, когда на День Победы играл оркестр и пели песни их молодости.

— Курганная шашка, — сказал он тихо. — Остапова. Я его знал. Он сюда на челне приходил. Самый сердитый был казак на всей линии. Хитрый, як лис. Он мне табак привозил.

Он потянул носом воздух, будто старался учуять тот табак через двести лет. И вдруг замер. Потому что из валенка под мышкой у Матвея высунулась борода.

Кузьмич вылез не сразу. Сначала борода, потом нос, потом целиком. Спустился на землю по Матвеевой штанине, как по стволу. Отряхнул рубашку. И пошёл к старику в красном. По мокрой земле, босой, не торопясь.

Он был старику по колено. А шёл так, будто был выше.

Старик смотрел на него. Долго. Потом медленно, с тем же треском в коленях, опустился на одно колено, чтобы их лица были ближе. И снял с головы шапку, которой там не было. Просто провёл рукой по бритой голове, как делают люди, которые всю жизнь носили шапку и снимали её только перед старшими.

— Кузьма, — сказал он. — Живой.

Кузьмич что-то пробормотал. Стёпа не расслышал что. А старик расслышал. И засмеялся, гулко, так, что на озерце пошла рябь, а из камыша с криком вздёрнулась цапля.

— Так, так, — сказал он сквозь смех. — Старый стал, дурной стал. Старый стал, это верно. А дурной — то ты брешешь, Кузьма. Ты завсегда брехал.

Матвей посмотрел на Стёпу. Стёпа пожал плечами и медленно вдвинул шашку обратно в ножны. Драться сегодня, кажется, не придётся.

* * *

Звали старика Охрим. Так сказал Кузьмич, точнее, не сказал, а пробормотал, и на этот раз Стёпа понял. Охрим был когда-то запорожцем. Старым уже, когда Войско пришло на Кубань. И когда казну зарывали, он сам вызвался остаться при ней. По старому заклятью, своей волей. Семьи не было, детей не было. А казну сторожить кто-то должен.

— Так ты… человек? — спросил Матвей.

Охрим сидел на краю своей пустой ямы, свесив туда босые ноги, как сидят на причале над водой. Огонь на камне стал меньше и тише, как собака, которая улеглась у ног хозяина.

— Был, — сказал он. — Теперь не знаю. Кладовик. Так люди кажут. Не нечисть я, хлопцы. Нечисть, она чужое берёт. А я своё стерегу.

Стёпа подумал, что надо будет записать это в летопись. Слово в слово.

— Что они взяли? — спросил он. — Золото?

Охрим не ответил. Он нагнулся к отвалу земли рядом с ямой, зачерпнул горстью, как зачёрпывают воду. И разжал пальцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.